

Сергей КОСТЫРКО

ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ ИИСУС

12.10.2015

Солнце за овальным окошком самолета, на стекле снаружи блестят кристаллы изморози.

Внизу облака и небесная синева под ними. Она точно такая же, как и синева сверху, над нашим самолетом. Нет, я, конечно, знаю, что подо мной море. Но самого моря не вижу. Я – в небе.

На коленях моих ноутбук с записями для текста, к которому я никак не могу подступиться. И очень похоже, что вот эта, девятая для меня, поездка в Израиль – акт капитуляции.

Про свои израильские впечатления я написал уже много, даже книгу издал. Но есть мотив, который не отпускает. Который начался со странного переживания – с преобразования для меня здесь, в Израиле, образа Иисуса Христа. Переживания неожиданного и острого, но я ничего не записывал – не моя тема. И пропустил, из чего именно начинал выстраиваться для меня этот «мотив преобразования». То есть описать ощущения могу, изобразить – нет. Вот, собственно, за впечатлениями, точнее, за старыми своими переживаниями я и лечу. При этом хорошо знаю, что ничего не повторится. И потому дело мое – безнадежное. Но – лечу.

Предполагавшийся сюжет

Библия для меня всегда состояла из двух книг – Старого Завета и Нового. Иисус был из Нового Завета как воплощение любви к ближнему и всепрощения. Ну а главным персонажем Ветхого Завета был Бог, творец всего сущего, Создатель – милостивый, но и грозный, всеокрушающий: Всемирный потоп, Вавилонская башня, Исход; Авраам, Моисей, Соломон и так далее до книги Иисуса Навина. И соответственно книги эти воспринимались мною как разные, а может, в каком-то смысле и противостоящие. И, думаю, не только для меня. Не буду ссылаться на Иоанна Златоуста или на упёртого христианина из XII века папу Римского Иннокентия III, первого официального инквизитора и, соответственно, борца с иудейскими ересями (Торой). Достаточно просто сравнить эмоциональное наполнение библейских сюжетов из Старого и Нового Заветов в мировой живописи, на которой мы все росли. Но вот здесь, в Израиле, отличия этих книг вдруг стали для меня стираться, а облик Иисуса, светивший умиротворением с полотен европейских мастеров, усложняться. Я вдруг ощутил, что Иисус Христос гораздо ближе к духу Старого Завета, чем мне казалось. И что никакого противостояния Старого и Нового Завета нет. Вот сюжет, к которому я пытался приступить: соединение для меня двух Заветов в один. Сюжет, как я достаточно быстро осознал, для меня непосильный. Я не библиист, не христолог, не историк, не философ. Я среднестатистический обыватель с гуманитарным образованием (сомнительным по нынешним временам). И я пытаюсь здесь описать, что может происходить с человеком, читающим Библию в Израиле.

Вполне представляю себе реакцию действительно образованных людей или «истинно верующих» на подобный текст. К тому же существует уже огромная, тщательно проработанная литература на эту тему. Тогда – зачем? Единственное оправдание: писание вот этого текста – это мое сугубо личное дело, на какой-либо вклад в библиистику уж никак не претендующее.

Вечер в день прилета

Иерусалим. Предвечерний косой солнечный свет. Я иду от остановки трамвая «Дамасские ворота» к Старому городу. Стены его светят желтым камнем сквозь редкий частокол молодых пальм. При этом все вокруг меня как-то уж очень буднично: плитка под ногами, слегка замусоренный асфальт, утопленные в него рельсы трамвая, таракшень мотороллера, рюкзаки на спинах идущих впереди, произвольное ускорение моего шага, – загорелся зеленый на переходе, и я тороплюсь успеть, и одновременно – ощущение невероятного: Я – Иду – По – Иерусалиму – Я – У – Ворот – Старого – Города.

В теле моем неостывший гул самолета, левый ботинок еще не просох после лужи у гигантской стеклянной гусеницы Домодедовского аэропорта – во мне, как в подвисшем компьютере, наполовину загрузившаяся картина просвечивает еще той, с чернотой ночного леса за окном такси и наплывающими огнями аэропорта, типа я еще наполовину дома, но вот он я уже вечерний, спускаюсь по каменным ступеням, амфитеатром охватывающим площадку перед входом в Дамасские ворота.

Нет, на Святую Землю нужно ехать так, как ехал рабби Нахман в конце XVIII века – четыре месяца наблюдать из повозки, как сменяются пейзажи украинского Полесья на степи южной России, плыть на корабле из Одессы в Стамбул, а потом из Стамбула в Яффо, где рабби не выпустят на берег и нужно будет плыть дальше из Яффо в Хайфу, откуда путь его потом протянется к Цфату, к пещерам у горы Мирон, где две тысячи лет назад рабби Шимон надиктовывал ученикам «Зоар» – изначальный текст Каббалы. Вот тогда расстояние, которое разделяет тебя со Святой Землей, ты проживешь телом, – многомесячным усилием его ты соединишь себя «полесского» с «палестинским».

Или нет? Или все правильно? XX век изменил жизнь нашего тела. Как минимум, упразднил для него расстояния (и, соответственно, отношения со временем). Иерусалим – рядом. Ночью я сел в такси возле своего московского дома на Шипиловской улице, а вечером вхожу в ворота Старого Города в Иерусалиме.

После узкой – по сравнению с монументальностью всего сооружения – щели Шхемских (Дамасских) ворот, я спускаюсь на небольшую торговую площадь. Толпа вокруг состоит из арабов с редким вкраплением туристов из Европы, а также харедимных евреев в высоких черных шляпах и шапках, редких, но – тем не менее. Упёртые ребята – это ведь арабские кварталы. Поневоле зауважаешь. Далее по улице Эль Вад – к перекрестку Эль Вад с Виа Долороза с крохотной площадью и выставленными на нее столиками тамошней кофейни. И как специально для меня – свободный столик. Я заказываю кофе и прошу принести пепельницу – нет, это не пижонство, а как бы легитимизация моего намерения устроиться надолго. Передо мной часовня, построенная поляками на том месте, где Иисус, выходящий из каменной щели Виа Долороза, первый раз упал под тяжестью креста, а потом здесь же его увидела мать. Под часовой группка израильских полицейских, обвешанных вполне серьезным оружием, – здесь сливаются потоки туристов и паломников с арабами, идущими на Храмовую гору. Я легко определяю в толпе русских, вон того, например, молодого батюшку со светлой редкой бородой, чуть растерянно оглядывающегося и заглядывающего в карту. Он один, он не в группе. Мне нравится вид православных батюшек из России, когда они ходят здесь в одиночестве. То есть не по служебной надобности, а по какой-то своей внутренней потребности. Парень встречается со мной взглядом, произвольно улыбается, что тоже необычно для русского за границей, я, например, научился улыбаться незнакомым людям на улице не сразу.

По соседству со мной английская речь. И польская.

Ну и что я здесь делаю? Вспоминаю. Потому как сюжет преображения Иисуса для меня начался именно здесь.

Я сидел на этом перекрестке несколько лет назад, смотрел снизу на каменные его стены, ощущая себя «древесным червем», только не в дереве, а в камне – в теле древнего города. Нет, я читал, что нынешний Иерусалим по библейским меркам молод, перестроен турками в XVI веке. Но даже если отбросить метафизику, что здесь трудно, то – вопрос, а из чего строили этот город турки? Вполне можно предположить, что вряд ли римляне, а потом последующие завоеватели, разрушая Иерусалим, тратили силы еще и на раздробление тех камней, что остались от его зданий. И скорей всего на строительство нынешнего Иерусалима в XVI веке пошли те же самые камни. И естественно, строился он с произвольным сохранением пространственного и архитектурного кода изначального Иерусалима. Вот это ощущение каменного тела города, сквозь который паломники проложили Крестный Путь Иисуса – Виа Долороза, неожиданно навело на мысль, что Библию нужно читать не с «конца», коим является Новый Завет, а с начала. На прогулки свои в Старый город я обычно брал с собой ее карманное издание с тончайшими страницами и, сидя тогда в этой кофейне, открыл книгу, – а может, мне ее так открыли – на пророке Исайе. То есть, как сразу выяснилось, в том самом месте, которое здесь и надо читать. И странно, по ходу чтения голос пророка начал казаться мне знакомым. Почти рефлексивно я перелистнул книгу ближе к концу, к Нагорной проповеди: «...вы слышали, что древним было сказано: “не приноси ложной клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои”. Я же говорю вам: не клянись вовсе...». Вот когда я впервые почувствовал, что Нагорная проповедь перестает быть для меня «методичкой», а образ Иисуса благостным и умиротворяющим. Речь его выстраивала конструкция: «вас учили... а Я говорю, этого мало»:

«...сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду»;

«...сказано древним: “не прелюбодействуй”. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем».

Это не увещевание, это – требование. Я вдруг ощутил в Нагорной проповеди ветхозаветный напор пророка. То есть я читал все того же пророка Исайю, которого неожиданно для меня продолжил Иисус. И ничего в нем не было от кроткого Христа с европейских икон, это уже тот Иисус, который мог сказать «Не мир пришел Я принести, но меч».

Иерусалим как он есть

Сегодня в Старый Город после гуляния по Масличной (Елеонской) горе я входил не через Яффские или Дамасские ворота, а через Львиные. Я прошел под сводами ворот и еще метров двести к Виа Долороза, и слева от меня образовалась узкая улица, точнее – каменная щель под арками, чередовавшими в этом проходе пятна света и тени. И там, в глубине ее, что-то происходило, вроде как шествие какое-то. Оно приближалось. Впереди шли три подростка. Каждый нес зеленую пальмовую ветвь. Шли быстро. А сзади на них накатывала толпа. Я поднял свой «Кэнон», нажал на спуск, и пока ждал несколько секунд, когда снимок запишется, идущие поравнялись со мной. Толпа мужчин – исключительно мужчин – в светло-серых джальяби, и они скорее бежали, чем шли. Я увидел на уровне плеч плывущий над толпой ящик. Плоский. Длинный. Открытый. Обтянутый зеленой тканью. Я увидел то, или, точнее, того, кто лежал в ящике, накрытого тканью. Ткань белая, прохладная для глаза. Лежащему под этой тканью в ящике просторно. Гроб пронесли мимо меня, вжавшегося в каменную стену. Человек тридцать-сорок. Не больше. Шествие беззвучное. Только шорох шагов. Вытянутую узким проходом толпу завершали трое стариков, вот эти шли тяжело, напряженно дыша, очень старались, чтобы не отстать. Шествие вышло на Виа Долороза. И я, как те три старика из конца процессии, поспешил за ними. Но даже этих стариков догнать мне не удалось – оказавшись на улице, на свету, я увидел только, как змея этой толпы уже заворачивает направо в другую улицу-щель. Моя камера успевала ухватить только край зеленого

гроба, скользящего в проход. Когда я оказался – через несколько секунд – у этого поворота, то увидел в конце узкой улочки только хвост утекающей процессии. А на Виа Долороза ничего не омрачилось. Та же истомная пластика гуляющих по ней туристов, то же сияние солнца на отшлифованных подошвами камней мостовой и медной посуде на прилавках арабов. Абсолютно – ничего не осталось. Так, сквознячком слегка протянуло. Оттуда. И воздух снова неподвижен. Только один араб лет сорока остался стоять, так же как и я, у поворота. Похоже, только мы двое и успели это увидеть.

Иными словами, при моем входе в Старый город мимо меня пронесли мертвого человека. Нет-нет, никакой символики. Просто для иерархии здешних понятий, чтоб не казался мир Старого города сувенирной декорацией в натуральную величину, о чем изо всех сил пекутся живущие здесь и работающие на туристов люди. То есть вокруг меня не декорации каменные, а жизнь и смерть. Вполне реально. Почти буднично.

Как читать Евангелие

При чтении Евангелий меня смущали поставленные евангелистами на поток чудеса, которые совершал Иисус, – «слепые прозревают и хромы ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают». Чтение таких мест в Евангелии отсылало меня к давним шепоткам на автобусной остановке у нас в Чурикове на окраине Малоярославца: «Да не слушай ты врачей. Им бы сразу человека под нож. А ты лучше сходи к Степановне. Сходи! Она руки наложит, пошепчет, и все как рукой снимет». Много позже, в начале 90-х, чуриковскую «Степановну» сменил Кашпировский из телевизора, а потом разные «Сударыни Марфы», одну я слушал – барышня неимоверной благостности, но уж очень пылкая: вместо умственного для нее «космическая энергия» выскочило у нее родное «косметическая». Нормально.

Сочетание Христа и «кашпировских» в Евангелиях оскорбляло меня эстетически.

И только на старости лет я обнаружил, что сначала Ветхий Завет надо было читать, то есть осваивать язык той культуры, которая родила Евангелия. И тогда способ буквального прочтения текстов Евангелия отпал бы сам собой. Потому как и язык Иисуса, и язык евангелистов, и вообще язык Библии – язык метафоры.

Какие чудеса творил Иисус?

Слепых делал зрячими. То есть глаза у человека были, и человек смотрел этими глазами, но – не видел. А Иисус «открывал ему глаза». Но ведь этой же языковой конструкцией мы пользуемся и сейчас.

Иисус изгонял из человека бесов, то есть помогал человеку, утерявшему естественную связь с окружающим его миром, связь эту восстановить. Сейчас этим занимается психотерапевт.

Или, самое невероятное, – оживление мертвых, сама идея этого действия: слишком многие из нас, рожденные для жизни, по сути, так и не живут. А Иисус делал их живыми.

Ну и так далее.

Понимаю, как наивно все это звучит. Но я отношусь к породе людей, как выражался мой отец, «незамысловатых». Мне всегда было интересно, как совмещается духовная высота христианского учения с тем уровнем религиозной практики, который сделал ее необходимой для большинства «верующих». Тех «верующих», которым необходимо чудо. А их абсолютное большинство. Предельно огрубляя, Христос для них, по сути, тот Кашпировский.

Гармония мира, которой, собственно, и явлен для нас Бог, ощущается «верующими» как рутина. Бытовуха. Потому им и нужны «чудеса», то есть нарушения законов данного нам Создателем мира, – все эти плачущие иконы, благодатный огонь и так далее. То есть им нужны постоянные доказательства существования бога.

Ну и как я могу называть это верой?

И еще про «истинно верующих»

Пафос прочитанной мною книги Льва Толстого «Царство божие внутри вас» – пафос абсолютно чуждый для меня, который я могу объяснить только тем, что Толстому не довелось пережить XX русский век, – неожиданно помог мне сформулировать для себя определение разницы между мною и «верующим», то бишь воцерковленным, – разница здесь в самом способе постижения истины. Воцерковленный уверен, что постигает истину особым, только ему (им) доступным способом – неким откровением, мистическим прозрением. Но не путем мысли. И отсюда уверенность воцерковленного в своем праве смотреть на меня, непосвященного в его «озарения», сверху вниз. А для Толстого Христос – это свет именно знания, то есть мысли. И уже поэтому перед Христом равны все.

Нет-нет, спорить с «верующими» я не собираюсь. Да ради бога! Я не Мухаммед и не апостол Павел. Мир пытаюсь постигать умом (уж какой есть) или, что будет точнее, своим жизненным опытом, а также – уж извините, – своим «религиозным чувством». «Религиозное чувство» есть у каждого нормального человека, то есть каждый наделен ощущением своей принадлежности к чему-то неизмеримо большему, чем ты; у каждого врожденное знание, что он живет по законам не им и подобным ему определенным. И наука, взявшаяся нам объяснить, что такое мир и как он устроен, тут бессильна по определению. Наука – это сфера деятельности людей, находящихся внутри жизни. Ученые – это люди с завязанными глазами, которые ощупывают слона, не имея возможности увидеть его сразу всего, целиком. Которые пытаются из разрозненных частных частей построить целое. Но перед самим феноменом жизни наука бессильна изначально. Сделать неживое живым она неспособна.

И что касается моего «религиозного чувства», то оно может присутствовать (и неизбежно присутствует) в качестве неких интуиций, выстраивающих мое размышление. Но не больше. И еще – природа «религиозного чувства» очень близка к эстетическому чувству, а может, это два проявления одного чувства. Эстетика для меня – это еще один доступный нам способ ощутить жизнь целиком, разом; размышление в сфере эстетики это путь от общего к частностям, а не наоборот.

Богомолка

Я увидел ее в группе русских экскурсантов на улице Виа Долороза.

Лет сорока-сорока пяти. Высокая, статная, с просветленным (скажем так) взглядом и задумчивым поворотом головы при словах экскурсовода «а теперь посмотрите...». Очень она старалась выделиться своей одухотворенностью среди прочих экскурсантов.

Я присоединился к этой группе экскурсантов, услышав интеллигентную речь ее русскоговорящего гида – невысокой женщины с короткой стрижкой и загорелым лицом израильтянки. То, что она говорила, не было воспроизведением типового набора фраз, чувствовалось, что ей самой интересно было то, о чем она рассказывала. Ну, скажем, про суд Пилата, который спросил у народа, кого отпустить, Иисуса или Варавву, и народ сказал, Варавву:

«Так мы читаем в Евангелии. Но мы должны помнить, что здесь при переводах букву “б” в арамейских именах обычно заменяли на “в”. То есть Пилат спросил, кого отпустить, Иисуса или Бар-Аббу, а по-арамейски “бар-абба” означает “сын отца”, то есть Пилат назвал известное толпе имя. И толпа естественно потребовала отпустить сына известного ей человека, то есть как своего».

Ну да, может и так. Если, разумеется, этот эпизод вообще мог быть в действительности, в чем историки сильно сомневаются. Про обычай отпускать на Пасху одного приговоренного к смерти

ничего не известно. Откуда он взялся в евангелиях? Скорее всего, это уже элемент трансформации истории Иисуса для Европы, первые попытки отбить Иисуса от евреев и от Ветхого Завета.

Но я здесь – об увиденной в группе женщине. Длинная темно-синяя юбка, голубая с прорехами рубаха-блузка и таких же оттенков платок на голове, то есть в отличие от прочих экскурсантов с непокрытыми головами она жестом богомолницы покрыла голову. И при этом цепляли взгляд – две расстегнутые сверху пуговицы блузки, чуть приоткрывающие верх груди, жест отнюдь не богомольный, но там, в разрезе, был выставлен крест. И какой! Огромный, деревянный, с блестящими камешками. Вряд ли дорогими, но и не стекляшками.

Как потом выяснится, не один я заинтересовался. На проходе от одной «станции» к другой идущая рядом с богомолкой женщина спросила: «Какой у вас удивительный крест! Здесь покупа-ли?» – «Да-да, в Вифлееме. В ювелирном бутике. Дорого конечно, но такое, как вы, наверно, понимаете, раз в жизни бывает. В Вифлееме уже ездили? Как? Да что вы! Обязательно, обязательно! Святое место». Но тут же, как бы устыдившись своей словоохотливости, она замолкает, и на лицо ее возвращается выражение отчужденности и погруженности в себя.

У каждой «станции» она, сделав маленький шагок назад, крестилась с поясным почти поклоном. При этом глаза ее быстро пробежали по товарам, выложенным в арабской лавке по соседству.

Остальные шли молча. Иногда переговариваясь тихо. Она же держалась подчеркнуто сама по себе.

Ну и чего ты к ней прицепился? Чем выбранная тобой поза отличается от ее. Ну да, типа писатель, остро чувствующий, а потом глубоко размышляющий – чашечка кофе, записная книжка, полуритуальная сигаретка и задняя мысль, а хватит ли денег на такси, потому как иерусалимский общественный транспорт по такой жаре – испытание. Ну и плюс раздражение вот от этой «богомолки». Да, конечно, смешна, претенциозна. И что? Она вполне могла бы лежать сейчас на пляже в Эйлате, попивать в теничке местное вино, флиртовать с мужиками, смотреть в интернете фильмы с Гошей Куценко. Но – стоит в каменных сводах Старого города, смотрит на его намоленные камни, как может приноравливается, к здешнему пространству – к “духовному” приноравливается. Отсюда крест на груди и старательно удерживаемое на лице выражение просветленности, своей причастности к «высшему», хотя бы через покупку еще одной иконки в «святом месте», то бишь русском магазине под названием «Магазин Гроба Господня», где никто не лезет без очереди, где все такие вежливые, такие «одухотворенные» – не гречку покупают и не стиральный порошок, – святое покупают. И где еще ты постоишь в очереди рядом с батюшками?

Так что разница между вами только в экипировке. Не более. Ты, по сути, в зеркало смотришь-ся. И нехрена морщиться.

Псалом 21

Читая Евангелия, я немного удивлялся постоянству евангелистов, воспроизводивших – у всех четверых – вот такую подробность в описании казни Иисуса:

«Распявшие же Его делили одежды Его, бросая жребий» (от Матфея).

«Распявшие Его делили одежды Его, бросая жребий, кому что взять» (от Марка).

«Распявшие Его делили одежды Его, бросая жребий, кому что взять» (от Луки).

«Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. Итак сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, – да сбудется реченное в Писании: разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий. Так поступили воины» (от Иоанна).

Господи, ну что там делить? Можно себе представить, чем была эта одежда: хитон, скорее всего грязный, потный, возможно окровавленный – хитон человека, над которым измывались, которого истязали (бичевали) – это тебе не заячий тулупчик. Но обойти эту подробность казни ни один евангелист почему-то не мог.

Почему так? Да потому, что вот эта подробность казни Иисуса уже тысячу лет присутствовала в тексте Ветхого Завета. Я обнаружил это два года назад, вот здесь же, в Старом городе, читая псалмы царя Давида: «...делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий» – Псалом 21. Со стыдом признаюсь, что этого псалма я не читал раньше, то есть читал, наверно, но так сказать неосознанно.

Что представляет этот псалом? Монолог (вопл), в котором вопиющий сообщает, что делят его одежды, а это значит, что одежды ему больше ему не понадобятся. Почему? Об этом другие слова: «пронзили руки мои и ноги мои». Так что это? Это казнь. Распятие.

Мы слышим голос человека, которого распинают. Это самый пронзительный текст из Псалмов Давида. В нем не только хроника происходящего, как в текстах Евангелия, но проживание казнимым того, что с ним делают: «Множество тельцов обступили меня; тучные Васанские окружили меня, Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались; сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прильнул к гортели моей, и Ты свел меня к персти смертной».

И начинается псалом фразой «Боже мой! Боже мой! [внемли мне] для чего Ты оставил меня?». То есть начинается он фразой, которую выстонал Иисус на кресте, «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Евангелие от Матфея, глава 27, 46). Читая этот псалом, мы из наблюдателей за казнью, соблюдавших установленную евангелистами дистанцию с описываемым, входим внутрь происходящего – мы становимся тем, кого казнят, и невозможно избавиться от чувства, что это Иисус. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои» «Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все, видящие меня, ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою: “он уповал на Господа; пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден Ему”», «...а они смотрят и делают из меня зрелище...».

Иными словами изображение казни и предсмертного страдания Иисуса присутствовали в Ветхом Завете уже за тысячу лет до написания Евангелий.

Сознаю, что это «мое открытие» стыдное – достаточно было воспользоваться сноской «Пс 21» в тексте Евангелия, чтобы найти соответствующую строку из этого вот псалма. Открытием оно было только для меня. Но, собственно, об этом и мой текст.

От пророков

Тель-Авив. На улице Аленби, неподалеку от рынка меня обогнала – я катил груженую закупленным на рынке харчем тележку в тень под деревьями фикусов – меня обогнала молодая негритянка бомжеватого вида. Неимоверно худая и высокая. Маленькая головка, вытянутая шея, короткие всклокоченные волосы, стоящие дыбом. Грязное темно-коричневое платье вдоль длинного тела. Походка невзрастичная, как будто качает ее. Лет двадцати или тридцати – не понять. Мотнулась за угол и пропала.

Я увидел ее снова минут через двадцать, расположившись в уличном кафе. Сидел я, имея в поле зрения трех барышень за соседним столиком в открытых, скажем так, платьях, то есть нужно было делать специальное усилие, чтобы отвести взгляд от обнаженных плеч их, рук и глубоких, стекающих под платьем ложбинок меж грудей. Сзади меня – двое парней, говоривших по-русски.

Она вышла откуда-то сзади. Стремительная, как на ходулях, походка. Прошла мимо меня, мимо девиц и вдруг остановилась, развернулась перед столиком моих соседок и замерла, упер-

шись в них взглядом. Лицо ее искажилось. И она начала говорить, что-то резкое – слово за словом, фразу за фразой, как будто стихи читала, все повышая и повышая голос. Девицы застыли. Ярость ее все нарастала, она взмахнула своей длинной худой рукой, и рука ее смела со стола бутылки с водой и чашку с кофе. Девицы коротко взвизгнули. Задрезбужало стекло по каменному полу улицы. Из кофейни выскочил бармен: «Тварь, ты что делаешь?!» – тут мне и переводчик не понадобился. Негритянка, не обращая на него внимания, наклонилась над онемевшими от ужаса девками и хрипло, с тем же накалом, отделяя слово от слова и сопровождая каждое движением руки с вытянутым вверх пальцем, произнесла еще несколько фраз. И замолчала, распрямилась горделиво, начала переходить улочку и только в этот момент, видимо, услышала крики бармена, остановилась, крикнула что-то коротко, как плюнула, крик ее закончился неожиданным движением – она пнула ногой велосипед, прикованный к столбу цепочкой. Велосипед, как несчастное животное, крутанулся вокруг столба, полетели на асфальт пакеты из коробки на багажнике, покатались по асфальту баночки с пивом. Из-за столика за мной с рычанием вскочил парень и кинулся к велосипеду – не сказать чтобы так уж решительно – собирать свое хозяйство. Затормозили две машины. Негритянка торжественно закивала головой, ткнула пальцем в небо, повернулась и скрылась за домом.

– Вот ведь сука, – бормотал парень, поднимая с асфальта раскатившиеся баночки.

Девицы за столиком поспешно укладывали сумочки. К девицам спешила официантка. Ну а я спросил у вернувшегося парня:

– Чего она кричала этим девушкам?

– Да бред какой-то! Бред! Вы заставляете солнце светить на ваши блядские плечи и титьки. Вы оскверняете своими губами воду. Ваше дыхание делает воздух отравой. И будут тела ваши смердеть, волосы повылазят с ваших голов и вместо пояса будет веревка. Ну и напоследок выдала: огонь с неба поразит вас. Будете гореть как солома.

– Короче, прокляла она нас, – усмехнулся приятель пострадавшего.

Усмешка получилась кривоватая.

Который из них Иисус?

При чтении Евангелия я всегда был вынужден выбирать себе Христа, или толстовского, который говорит, «возлюби ближнего своего», или того, который – «не мир я принес вам, но меч», который так напутствует своих учеников: «а если кто не примет вас и не послушает слов ваших» «отраднее будет земле Содомской или Гоморрской в день суда, нежели городу тому». А ведь не то чтобы зло какое причинят несущим христово учение жители этих городов, но просто – проявят равнодушие. Ну и где здесь «если кто ударит тебя в правую щеку, подставь ему другую»?

Встреченная им хананейка просит помочь больной дочери – ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева», «нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Нет, дочери несчастной женщины он помог, так сказать, «бросил хлеб», но все-таки – как особи из семейства «псов», а не равному себе человеку.

То есть был упертым воинствующим националистом. Ну а про то, что для Бога «несть ни элина, ни иудея», так это, извините, не Иисус, это уже – апостол Павел.

Ну и которого я должен выбрать?

И вот читая Евангелие здесь, я вдруг почувствовал, что проблема вот этого выбора исчезает сама по себе. Что нет противоречия между Иисусом, который «меч», и Иисусом Нагорной проповеди с его «Возлюби ближнего как самого себя». Он везде один и тот же, везде один и тот же яростный напор: «сказано вам... а Я говорю». И клототание в горле не увещевающего, а приказывающего, и это не клототание Иисуса из Назарета, а Того, кто избрал его для произнесения этих слов. Сила, которая шла через ветхозаветных пророков, а теперь идет через Иисуса.

Простой вроде вопрос: а ветхозаветный Бог добр? К своему избранному народу вроде как да. Ну а к остальным, которых сам же и создал, «по образу и подобию своему», которых наделил каким-никаким разумом и привязанностью к жизни? Зачем тогда был Ему нужен всемирный потоп, о котором вспоминает Иисус: люди на земле «ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех» (от Матфея, глава 24, 38). И кстати, вспоминает об этом эпизоде Иисус с внутренним принятием этого действия, добавляя: «...Так будет и пришествие Сына Человеческого» (то есть его, Иисуса).

Ветхий Завет переполнен жертвами Создателя, взять тот же Иерихон – жили люди себе и жили, никому не мешали, Ему, думаю, тоже, но решил Он на это место других людей поселить, и потому этим другим было поручено уничтожить жителей этого города. «И предали заклятию всё, что в городе, и мужей и жен, и молодых и старых, и волов, и овец, и ослов, [всё] истребили мечом» (Книга Иисуса Навина, глава 6, 20), с чувством божьего благословения истребили.

Ну и так далее.

Ну а если поднять глаза от Книги, если оглядеться сегодня – в чем был божий промысел с цунами в Индийском океане 2004 года, унесшим в океан и умертвившим на берегу под завалами пляжных строений, магазинчиков, модулей отелей сотни тысяч человек? Или землетрясение в Турции 2023 года? Или тысячи и тысячи убитых и покалеченных в Украине, посреди обустроенной для жизни сверхцивилизованной Европы XXI века?

Нет, тут должны быть какие-то другие мерки – Бог не измеряется «добром» и «злом». Он воплощает то, что лежит в основании мировой гармонии. А в основании этой гармонии лежит – и никуда от этого не денешься – обязательное присутствие не только добра, но и зла. Гармония жизни – это, похоже, совсем не то, чем мы привыкли ее считать. Это нечто, на самом деле, страшное, неподъемное для нашего разума и чувства, и уж никак не похожее на образы торжественной ночной тишины над горами со свечением снежных вершин и миганием звезд. С подлинной гармонией плохо сочетается пиитический восторг философов – «Звездное небо над головой и моральный закон внутри нас наполняют ум все новым и возрастающим восхищением и трепетом, тем больше, чем чаще и упорнее мы над этим размышляем».

Или еще один вопрос, чем так разгневал Создателя им же избранный народ, что он допустил Холокост? Не пожалейте двух часов из своего двухнедельного отпуска в Израиле на обход музея на Яд Вашем, чтобы этот вопрос был сформулирован и вами.

Тут что-то другое. Зачем-то нужно, чтобы все мы вместили в свое представление о даре жизни, которым одарил нас «Всеблагий», и ЭТО. Я не знаю, зачем. Я только знаю, что когда мы думаем об этом, мы непроизвольно шуримся.

Да нет, я тоже шурюсь.

Ну а Иисус был голосом все того же Ветхозаветного Бога.

Про «историческое время»

На Галилею я смотрю сейчас из окна автобуса, приподнятый над землей полотном шоссе и колесами автобуса, смотрю сквозь ажурные металлические конструкции опор высоковольтных линий электропередач, сквозь мелькание рекламных щитов, строения автозаправочных станций, заборы и летящие назад деревья, и вдруг слева в просвете между остановившимися перед светофором машинами я вижу зеленый дорожный щит с надписью «Назарет»...

На самом деле не надо напрягаться и воображать что-то такое исключительно архаичное. И при Иисусе было так же – толкотня на узких улицах городков и поселений, оклики людей, смех, верблюд с поклажей, загородивший проход, каменные слипшиеся друг с другом низенькие дома и здание синагоги «до неба вознесшегося» Капернаума, смотревшееся когда-то громадой нынешнего торгового центра Тверии над старой городской застройкой. Там была та же жизнь – хло-

потливая, насыщенная, с похожими межнациональными, межрелигиозными напряжениями, только отодвинутая на 2000 лет назад.

Галилейское море

Скудность пейзажных деталей в Евангелиях заставляют предположить такую же скудность, аскетичность пейзажа Галилеи. И потому роскошь того, на что сейчас смотрю, поражает. Я сижу на берегу Кинерета (Генисаретского озера, Галилейского моря, Тивериадского моря). Озеро неподвижно. «Неподвижно» здесь слово бессмысленное, но ощущение этого озера рядом почему-то требует именно его. Под ногами у меня мелкий щебень, дальше прозрачная вода с выступающими из нее замшелыми верхушками камней, и еще какое-то пространство остается для моего глаза водой, ну а дальше гладь ее как будто растворяется в воздухе, и озеро, все, с невысокими горами на горизонте с той стороны, становится лежащим передо мной небом – с нежнейшими переливами цвета от голубого вверху и сизого внизу.

Большая лодка плывет где-то в километре от берега, не дальше, нарисована она вполне отчетливо, я вижу невысокую мачту, вижу белый тент, натянутый над палубой. Но лодка эта как бы висит в светящемся мареве, в непонятной глазу субстанции.

Цапля, колыша тяжелыми распахнутыми крыльями, проплывает низко над водой и опускается на камень у берега, складывает крылья и превращается в силуэт: длинный клюв, головка, изгиб и вертикально идущая вниз линия длинной шеи, которая расширяется в стекающую каплю ее тела над длинными ногами. Здесь нужен китайский график и каллиграф, потому как силуэт цапли, ставший вытянутым сверху вниз иероглифом, представляет собой изыск письменной графики.

Порыв ветра, и озеро где-то посередине разделяется серой полосой ряби.

Пейзаж, написанный светом.

Понятие времени, которым мы заговариваем жизнь, имеет отношение далеко не ко всему, к чему мы его прикладываем. Поднимите глаза к небу, к текущим по нему облакам, к текущему по озеру свету и скажите, в каком вы времени, в каком году? Чтобы ответить на этот вопрос, вам нужно посмотреть на дизайн машин, припаркованных на автостоянке Капернаума, на марки фотоаппаратов проходящих мимо туристов. Ну а если протянуть взгляд над поверхностью озера, или погрузить глаз в листья растущей неподалеку сикоморы (смоковницы)? В каком вы веке?

Как осознал я уже в сильно зрелом возрасте, понятия пространства и времени всегда были для меня понятиями еще и религиозными. Я помню тот холод в теле, ужас почти, когда подростком я пытался представить, что такое бесконечность космоса. То же самое со временем. Оно ведь тоже бесконечное, ну а что это значит? Откуда оно взялось и куда денется, ведь по идее все имеет начало и конец. А у пространства и у времени нет начала и нет конца. По определению. Вот это смятение, холодок от недоступности этого понятия и есть, может быть, единственное доступное нам переживание присутствия Бога.

Ну а Бог, который в Библии, создавался людьми. Это Бог одомашненный. Тут все как у нас, скажем, рай и ад, как специально обустроенные пространства для праведников и для грешников. И Страшный суд, то бишь небесное судопроизводство, обустроено по нашим же земным представлениям о справедливости. Ну и все происходящее на небе с Богом, ангелами и архангелами, с Сатаной и падшими ангелами строятся для нас по законам романного сюжетостроения. От Ветхого Завета до, скажем, современного массового кино (посмотрите, если не видели, замечательный фильм Агустина Яниса «Нет вестей от бога» с Пенелопой Крус). Бог в Библии может явиться к людям, он разговаривает с Моисеем через неопалимую купину, он приходит в гости к Аврааму. Бог может ссориться с людьми, Иаков, например, вообще вступил в телесную схватку с Богом, и тот потом одаривает Иакова за упорство именем Израиль.

Ну а самая пронзительная версия Бога для нас – это Евангелия.

К Евангелиям относятся по-разному. Василий Розанов, например, упрекал евангелистов в узости взгляда, в том, что там нет, в отличие от Ветхого Завета, подлинной религиозной космологии (я имею в виду так называемый «космологический аргумент» в защиту существования Бога, выдвинутый еще Аристотелем), что все слишком камерно, замкнуто в человеческих понятиях. Как будто мало ему «космологии» в Ветхом Завете. Но у Евангелий изначально другой сюжет с максимально приближенным к человеку «образом бога»: Евангелия – о непосредственной, интимной почти связи человеческого и божественного. Великий миф о сыне человеческом (пишу с маленькой буквы, чтобы приблизить самоназвание Иисуса «Сын Человеческий» к первоисточнику), ставшим богом.

Ну а уж коль я упомянул про «космологический аргумент» в защиту существования Бога, выдвинутый когда-то Аристотелем и развитый потом христианскими и исламскими теологами, то – небольшое отступление. «Аргумент» звучит так: «Всё должно иметь причину. Цепочка причин не может быть бесконечной, должна быть самая первая причина». «Вселенная как состоящая из вещей, имеющих свою причину вне себя, сама должна иметь свою причину вне себя» – «этой вот первопричиной Вселенной является Бог». Формулировка выглядит завершенной, почти как математическая формула. Для меня она выглядит убедительно. Но не по причине безупречности ее логики, а наоборот – по причине ее логической – для меня – беспомощности. Здесь используется слово «первопричина», употребление этого слова заставляет предположить, что существовала точка во времени и в пространстве (пусть и «нематериальном»), в которой появился Бог. И здесь соответственно – детский вопрос, а кто и когда создал Бога? Что это была за сила? И – в свою очередь – что за сила, создавшая силу, создавшую Бога? И так далее, и так далее, и так далее. И здесь мы снова упираемся в то, что нашим разумом не пронять. По определению не понять, как невозможно поднять себя за волосы. Мы только чувствуем холодок мысли о присутствии все той же бесконечности пространства и времени, которое для нас и есть догадка о существовании Бога.

Храм Гроба Господня

Что такое этот храм? Говоря сегодняшним языком, – перформанс. Все сразу и все в одном месте, просто переходишь из зала в зал, из одного придела храма в другой: при входе в храм вы поворачиваетесь направо и поднимаетесь по деревянной лестнице наверх, на Голгофу. И вы на том самом месте, где распяли Иисуса. Место казни оформлено как алтарь. Справа в стене окно, за стеклом которого вы видите камень Голгофы, и абсолютная чернота плоти Лобного места не может не завораживать. Вы погружаете взгляд в неимоверно далекое прошлое, которое сейчас перед вами. Слава богу устроителям храмовой «Голгофы» хватило ума сделать изображение распинаемого не скульптурным изображением и не картиной маслом, а достаточно условным силуэтом. Постояв перед ним, вы спускаетесь по второй лестнице и оказываетесь у каменной плиты, на которой Иисус лежал уже мертвым. Здесь его обмывали. Ну а далее – еще десяток или два десятка шагов – огромное пространство центрального придела храма, на дне которого кувуклия – надгробная часовня над пещерой-гробом Иисуса. Здесь можно свечу поставить, а можно, отстояв длинную очередь, и в гроб Иисуса зайти (меня на это не хватало). Далее просторные темные коридоры с росписями на стенах и входами в другие помещения, а также лестница вниз, спустившись по которой, вы увидите просторную пещеру с могилой Адама в углу, причем эта могила, как утверждают экскурсоводы, как раз под тем местом на Голгофе, где был распят Иисус, и откуда кровь его капала вот на эту вот могилу Адама. Ну и так далее. Все тут компактно, все удобно для

осмотра. Вы, переходящие из придела в придел, начинаете чувствовать себя на сложно устроенной многоуровневой театральной сцене, двигаясь по которой, вы воскрешаете для себя великий миф. Воскрешаете Иисуса Христа. Продолжаете работу евангелистов.

В зеркалах

Должен оговориться: написанное выше в интонации приподнятой, если ни выпренной, отнюдь не отменяет для меня текста, который накапливался у меня в блокноте – записей за русскими туристами. Вот несколько:

Фотографирование у кувуклии в Храме Гроба Господня: «Коля повернись. Вот так. Губы, губы-то подбери! Сделай лицо. Вспомни, в каком месте находишься!.. Теперь – меня. И чтобы дверь в гроб была видна».

На Виа Долороза:

я слышу интеллигентную речь женщины-экскурсовода. В данном случае, персонального экскурсовода, она сопровождает маленькое семейство нового русского: сорокалетнего «пацана», с тяжелой золотой цепью на шее, его тридцатилетнюю красотку-жену и их восьми-девятилетнего сына, который, не обращая внимания на предостережения экскурсовода, лез за все ограждающие экспонаты шнуры, чтобы руками все потрогать, ну а родители этого сопляка, уже точно знающего, что он – хозяин жизни, не останавливали.

В паузах между объяснения экскурсовода жена нового русского пытается поддерживать соответствующую моменту интеллигентную беседу:

– А вот этот храм кто строил?

– Ватикан

– Като-о-олики? – недоуменно морщится женщина. – А этим-то здесь вообще что нужно?

Из рассказов Любы из Текоа, работавшей экскурсоводом:

«– Скажите, а к мощам его чудотворным можно будет подойти.

– Каким мощам? Простите, но ведь он вознесся!

– И что, ничего не осталось? Совсем?!

– Вы знаете, нет. Не осталось.

– Ой как жаль!»

«Вопрос русского экскурсанта:

– Так это что? Вы что, действительно хотите сказать, что Иисус Христос был евреем? Я вас правильно понял?!»

«Одна из русских после завершения экскурсии:

– Вы такая умная, такая образованная. Вам обязательно надо креститься. И читать правильные книги, а не эти ваши, бесовские

– Почему это они бесовские

– Ой, бросьте! Все же знают, что в ваших книгах».

«Я подвожу группу русских, которую сопровождает батюшка, к Стене Плача, рассказываю про Храмовую гору и строительства Второго Храма царем Иродом.

– Царь Ирод, – встречает батюшка, обращаясь к паломникам, – это тот, который убивал православных младенцев

– Помилуйте, батюшка, но Ирод умер до рождения Христа. А православия тогда вообще не было.

– Это неверие в тебе говорит. Неверие! Креститься тебе надо».

Ну а на последней записи за Любой я бы хотел остановиться чуть подробнее – это был рассказ про русскую паломницу, которая забыла взять с собой на экскурсию в Вифлеем загранпаспорт, и арабские пограничники на границе с Палестинской автономией, в которой Вифлеем и Храм Рождества Христова расположен, отсекли эту женщину, велев дожидаться свою группу в автобусе, в котором приехала из Иерусалима. Остальные пересели в уже палестинский автобус и уехали. А она вместе с Любой и шофером осталась на границе. Вид у этой женщины, рассказывала Люба, был поначалу какой-то испуганный, подавленный. Она забилась на последнее сидение в автобусе и затихла. Потом Люба услышала тихий плач, потом рыдания. Люба подошла утешить, сказать, что возьмет ее завтра на эту же экскурсию с другой группой, но та как будто вообще не слышала ее.

Люба погладила ее по плечу, и женщину затрясло, она вдруг скинула туфли и начала ими бить по стеклу автобуса. Прибежал шофер, схватил ее за руки, удержать ее Любе было не под силу. Женщина выкрикивала:

– Я к вам сюда ехала... я хотел увидеть... для меня это было... а вы, жида проклятые, вы нашу землю отобрали!!!

– Как это вашу? Почему эта земля ваша?

– А потому что по ней ходил наш Христос

И мне вдруг представилась эта женщина, приехавшая в Израиль, со своим Христом. Представил ее шок от самой этой страны с ее жарой, толчеей на улицах, громогласными торговцами на рынках: для нее все тут казалось диким: все черноволосые, черноглазые, как у понаехавших в Россию, и все у них навыворот – буквы на афишах, даже не английские, а не пойми какие, и газеты свои они читают справа налево, не как все люди. После дня в ихнем городе не заснуть, голова гудит. Как болезнь какая-то. И что? Это и есть страна Иисуса, как ей каждый день пытаются впарить экскурсоводы? А Иисус с крестом на Голгофу шел через их арабский рынок?! Но ведь этого быть не может! Это Христос ненастоящий. Настоящий остался у нее в родительском доме, в иконостасике с лампадкой, перед которым по вечерам тихо молилась бабушка. Иисус это тот, который на иконах в их церкви и про которого рассказывал отец Тихон, такой же тихий, такой же благостный, как Он. Когда она по вечерам, оставив пьяного мужа спящим на кровати, одетым, только сапоги с него сдирала, уже бесчувственного, когда она по морозу пробираясь между сугробов на слабый огонек из их церкви на окраину села, вот тогда она шла к Христу. В полупустой церкви пахло угольным дымком из печки, которую растапливает матушка, и было тихо, покойно, и можно было помолиться у иконы Божьей Матери, свечку поставит за бабушку, за мать и отца, отпетыми в этой же церкви. Она оглядывалась на редкие звуки открываемой и закрываемой двери – входили ее подруги и единственный на все село прихожанин Сергей Никодимыч, а потом – придурковатый Родька, затихавший в углу, и в открывшейся на несколько секунд двери она видела сугробы и черное небо со звездами, и еще дальние огоньки машин на шоссе. И как же хотелось ей самой пройти по земле, по которой ходил Христос. Три года она откладывала деньги, немного дала в долг подруга, и даже племянник, пусть и посмеиваясь, типа, блажит тетка, возил ее сначала в город, в милицию, оформлять паспорт для поездки за границу, а потом отвез ее в Кольцово, в аэропорт и дал на дорогу сто долларов. Но она благодарна ему была безмерно. И что, все зря? Нет здесь ее Христа, что бы ей не говорили. Да ее даже к храму над пещеркой, в которой он родился, не подпускают! Или это знак свыше? Жида проклятые, ну не жида, арабы, да какая разница!

Да, действительно, не надо было ей приезжать в Израиль.

Для всех нас, воспитанных европейской культурой, Старый и Новый Завет в известной степени отдельные книги: Ветхий Завет – это книга про «их», евреев, историю, а Новый Завет – про нашего бога Иисуса Христа. То есть Ветхий Завет – для них, евреев, а Новый – для нас. О христианстве как форме европейского антисемитизма, закрепленного в этом качестве уже полторы тысячелетия самой церковью (Иоанн Златоуст и последователи), естественным образом включающим и противопоставление Ветхого и Нового Завета – об этом писать не буду по причине безбрежности темы.

Нет, я могу предположить, что могло вот так, парадоксальным образом, питать юдофобство религиозных европейцев. Ну, скажем, спрятанная где-то очень далеко, в глубине национального самосознания психологическая травма: отказ от своих богов – Зевса, Посейдона, Тора, Одина, Велеса, Дажьбога и других (над последними, кстати, еще и надругались, сбросив их идолов в реку). Но как-то они уговорили себя не помнить. Мне, например, всегда было интересно, как воспаленный антисемит Достоевский, убеждавший себя в своей неимоверной любви к Христу, вплоть до «если истина не в Христе, я все равно останусь с Христом», ходил к причастию, как «приобщался Телу и Крови Иисуса Христа», то есть брал в рот кровь человека, рожденного жидовкой. Но ум литератора изворотлив, как-то для него все это уравнивалось, как и для остальной массы «истинных христиан»-антисемитов.

Тем не менее, записи мои имеют определенное отношение к теме христианского антисемитизма, поскольку я как раз и начал разбираться для себя о соотношении двух Заветов.

Распятие

Чем бы я закончил этот сюжет, если бы хватило сил? Сценой распятия.

Точку в сюжете ветхозаветного Иисуса поставила для меня последняя фраза из Моления о чаше: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты». Центральная для меня фраза в Евангелии.

Свою смерть на кресте Иисус выбрал сам.

Какая это смерть? «Продолжительность казни составляла от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от метода, состояния здоровья казнимого и условий окружающей среды. В обзоре научной литературы отмечаются следующие возможные причины смерти при распятии: инфаркт, остановка сердца, гиповолемический шок, ацидоз, асфиксия, аритмия, и эмболия лёгких. Смерть может наступить от любого из этих факторов или от комбинации нескольких из них, а также по другим причинам, включая сепсис вследствие инфекции ран от гвоздей, либо ран, полученных при бичевании, которое часто предшествовало распятию, от обезвоживания организма либо от хищных животных».

Приблизиться к происходившему лично мне, например, помогает кино при всей его условности, ну скажем, «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе, снятое по мотивам романа Казандзакиса и Евангелий. Именно по мотивам, но с попыткой приблизиться к самой плоти того действия, которую воссоздает Скорсезе. Иисус в первых кадрах фильма – плотник, выстругивающий перекладки для крестов, на которых будут распинать. И здесь с самого начала важна именно плоть происходящего, которую создает на экране Скорсезе. Перекладину для кресте выстругивает у него не рубанок или шлифовальный какой инструмент, делающие поверхность абсолютно ровной, нет, на экране шербятый, неровно обтесанный скребком брусок, в поверхности которого как бы остается присутствие рук человека, это рукодельная перекладина, хранящая тепло ладоней плотника, и потому вбивание такого же рукодельного четырехгранного гвоздя в

ладонь приговоренного к распятию в фильме, крик распинаемого, рядом с которым находится Иисус, переживаются зрителем на уровне почти физиологическом, я бы употребил словосочетание как «интимно близкое».

И кстати, Скорсезе точен в фильме – приговоренный к распятию нес к месту казни не крест, как принято изображать на иконах и картинах, он нес вот эту перекладину, положив на плечи и уподобившись кресту. Потом перекладину эту с прорезью посередине клали на землю, вставляли в прорезь перекладины штырь на конце столба, закрепляли, и уже потом на это деревянное ложе клали человека. У Скорсезе все это происходит, повторяю, совсем близко от плотника Иисуса, и он не может не смотреть, как входит кованный гвоздь в ладонь, не может не слышать крик казни-мого. И уж кто-то, а этот Иисус знал, на что идет, соглашаясь на распятие.

Я понимаю сомнительность написанного выше, но почему Скорсезе и Казандзакису нельзя делать то, что делали великие художники, да и, простите, составители Евангелий, писавшихся по мотивам устных преданиям. Первое из Евангелий – от Марка – написано через сорок лет после смерти Иисуса.

И не надо смотреть на лакированные, коричневого дерева кресты в арабских лавках из Старого города, ставшего базаром при Виа Долороза, на картины европейских художников, на которых уж очень как-то «гармонично», успокоенно расположен на кресте Иисус, ну скажем, на исключительно красивеньком «Распятии» Виктора Васнецова в росписях Владимирского собора в Киеве с композицией из лебединых крыльев ангелов, окруживших умиротворенный лик Иисуса на кресте. В русской живописи к теме этой ближе всех подошел Николай Ге в картине «Распятие» 1892 года, где Иисус на кресте – это, прежде всего, образ непереносимого страдания. Вот реплика Толстого по поводу снятия этой картины из экспозиции очередной выставки Передвижников 1894 года как картины, оскорбляющей чувства верующих: «бойня какая-то» – «Слова эти всё говорят, – написал он Ге, – надо, чтобы была представлена казнь, та самая казнь, которая теперь производится, так, чтобы на нее было так же приятно смотреть, как на цветочки. Удивительная судьба христианства! Его сделали домашним, карманным, обезвредили его и в таком виде люди приняли его, и мало того, что приняли его, привыкли к нему, на нем устроились и успокоились... Снятие с выставки – ваше торжество. Когда я в первый раз увидал, я был уверен, что ее снимут, и теперь, когда живо представил себе обычную выставку с их величествами и высочествами, с дамами и пейзажами и nature morte'ами, мне даже смешно подумать, чтобы она стояла».

«Господи, зачем ты оставил меня» – это жалоба брошенного сына. Сына к отцу, который всегда был его опорой. И что отец, отдавший сына своего на такое на такое смертное, без надежд, отчаяние? Каково ему было смотреть, как распинают его сына? Не мог Он не любить своего сына.

Воскресение тут уже значения не имеет. Иисус Христос вначале был Иисусом Назарянином, когда ходил по земле, когда жил в Галилее, когда проповедовал в Капернауме и на берегах Кинерета. После смерти он стал Иисусом Христом, стал ипостасью Бога. А Иисуса Назарянина не стало. Он умер на кресте. И эта смерть, действительно, – смерть.

В Гефсиманском саду стоят уже не те оливы, возможно, при Иисусе там были молодые деревья, а не вот эти древние, с корявыми сверхкрюжистыми столами, каждый из которых величиной чуть ли не превышающей зеленую крону дерева над собой. Там был сад, а не мемориал. Под одной из этих олив молился Иисус Назарянин. Я не могу сказать, что так было. Но и не могу сказать, не было.

И ночь стояла, как ей и полагается, темная и холодная. На пасху в Иерусалиме среднегодовые температуры ночью 13–15 градусов. Пожалуй, только в хитоне было холодно. Возможно, стоял туман. И озноб, который бил его, был не только от холода. В тот момент он остался в полном одиночестве. Даже ученики покинули его. Они спали. Он был один на один с тем решением, которое должен был принять. Он знал, что за ним придут и что будет дальше, и мог уйти. Спрятаться.

Исчезнуть. Просто жить. Наделенному евангелистами нечеловеческой силой ходить по водам, превращать воду в вино, то есть много раз нарушать законы природы, такое было бы несложно. И он знал, что такое «распятие» – многочасовая, если ни многодневная агония, с ощущением рвущихся под тяжестью тела рук, прибитых к куску грубо обработанного дерева, с обмороками от нестерпимого зноя, с капающей и засыхающей кровью на голой коже, в которую впиваются кровососущие насекомые, с собаками подпрыгивающими, чтобы куснуть еще живое мясо ног. «Крест» – это когда человек весь состоит из нестерпимой боли. Нестерпимого отчаяния. И какая в этот момент разница, несколько часов у него впереди, или дней, или столетий, – интенсивность этого ужаса снимает вопрос продолжительности, она делает муку вечной. Хотя бы потому, что впереди ничего не будет.

И в эту ночь он обратился к отцу: «Отче! всё возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня». И тут же, в этом молении, искусу остаться живым Иисус противопоставляет свое, именно свое, ветхозаветное: «Но не как Я хочу, но как Ты».

Вот фраза в Евангелиях, соединившая для меня Ветхий и Новый завет.

К Стене Плача я подошел 27 октября 2007 года, на следующий день моего первого приезда в Израиль. Со страхом подошел, зная по опыту, что годами взращиваемый образ почти всегда уничтожается реальностью. Нет, разочарования не было. Напротив. Стена, то есть место (опять же для меня) соединения нашего мира и библейского, спускалась передо мной с неба, стояла твердо и вечно, покрытая изморозью белых записок в щелях между каменными плитами.

2015 – 2019, 2023